

БОР. ПИЛЬНЯК

МЕТЕЛЬ



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“
№ 137

АКЦ. ИЗДАТ. О-ВО „ОГОНЕК“
МОСКВА—1926

КАЙЕННА А. ЛОНДР  МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 1 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 2 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 3 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 4	ВОЙНА БУДУЩЕГО А. РИФЛЕН  МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 5 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 6 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 7 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 8	ОБЕЗЬЯНИЙ ЯЗЫК И.Х. ВОЩЕНКО  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 9 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 10 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 11 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 12	АНДРЕЙ ФРАНС А. АНДРЕЯНСКИЙ • А. АЛЕКСИЧ  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 13 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 14 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 15 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 16
РАССКАЗЫ И БАБЕЛЯ  МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 17 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 18 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 19	ВТОРАЯ МЕШАНСКАЯ Д. НИКУЛИН  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 20 МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 21 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 22	ВОЙНА С КОЛОРАДО Джон Рид  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 23 МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 24 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 25	ЕФИМ ЗОЗУЛЯ Рассказы  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 26 МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 27 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 28
МИХАИЛ КОЛЬЦОВ Рассказы об Октябре  МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 29 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 30 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 31	АЗИАТСКИЕ ПОВЕСТИ Лариса Рейннер  МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 32 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 33 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 34	МИХАИЛ ПРИШВИН СМЕРТНЫЙ ПРОБЕГ Фотопортреты Г. Годзеви  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 35 МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 36 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 37	ЮРИЙ СОБОЛЕВ Новый Чехов Материалы документы  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 38 МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 39 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 40
Д. ЗОРЧ Наука о поведении человека  МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 41 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 42 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 43	А. СВИРСКИЙ Китайские тени Рассказы  МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 44 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 45 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 46	В. ИНБЕР Вера Инбер Рассказы  МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 47 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 48 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 49	А. ЗВОРИЧ о цветной капусте  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 50 МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 51 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 52
А. МИТИЦКИЙ Братва Материалы  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 53 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 54 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 55	И. АШУКИН Красная площадь Материалы  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 56 МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 57 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 58	Д. МИТИЦКИЙ Братва Материалы  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 59 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 60 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 61	Ж. КЕССЕЛЬ Мэри из Корки Материалы  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 62 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 63 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 64

В. ШКОПОВСКИЙ КОНЕЦ ПОХОДА  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 65 МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 66 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 67	МИХАИЛ КОЛЬЦОВ ЗАПАДНЫЕ ПРОГУЛКИ  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 68 МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 69 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 70	Д. О. КАРМЕН РАССКАЗЫ О ПЯТОМ ГОДЕ с Гекта  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 71 МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 72 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 73
Б. ПИЛЬНИК SPERANZA  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 74 МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 75 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 76	ИЛЬЯ РЕНЦ Извозчик в Пензене  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 77 МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 78 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 79	М. ГОРЬКИЙ Как сложили песню  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 80 МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 81 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 82
ЖАН ТУССЕЛЬ КАМЕНОТЕС Рассказ  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 83 МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 84 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 85	КЛОД МАК-КАЙ СУДОМ ЛИНЧА  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 86 МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 87 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 88	ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ Трубка коммунара  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 89 МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 90 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 91
ОЛЬГА ФОРШ ОБЫВАТЕЛИ Рассказы  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 92 МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 93 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 94		
Д. В. ЗАНКОВ Наука о поведении человека  МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 95 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 96 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 97	А. ЗОРИЧ о цветной капусте  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 98 МЕДИОТЕКА ОГОНЬ № 99 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 100	НИКОЛАЙ АШУКИН Красная площадь Материалы  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 101 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 102 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 103
А. СВИРСКИЙ Братва Материалы  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 104 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 105 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 106	Д. МИТИЦКИЙ Братва Материалы  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 107 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 108 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 109	Ж. КЕССЕЛЬ Мэри из Корки Материалы  БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 110 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 111 БИБЛИОТЕКА ОГОНЬ № 112

РЕН. Т МАРИК МЕСС-МЕНД ВОЗЬМЕТ МАНИОНЧИКА	Н. А. КАРПОВ ГРЫЗИКИ—ХОЗЯЙЧИКИ БИБЛIOТЕКА „ОГОНЕК“ № 17	ИЮСОС ВАССЕРМАН ЗОЛОТО БИБЛIOТЕКА „ОГОНЕК“ № 19	А. БЕЗЫМЕНСКИЙ ИЗВАРНЕННЫЕ СТИХИ БИБЛIOТЕКА „ОГОНЕК“ № 20
КАРЛ РАДЕК СУН-ЯТ-СЕН КИТАЙСКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ БИБЛIOТЕКА „ОГОНЕК“ № 21	А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ ПОД ЮЖНЫМ НЕБОМ РАССКАЗЫ БИБЛIOТЕКА „ОГОНЕК“ № 22	М. ГОРЬКИЙ РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА БИБЛIOТЕКА „ОГОНЕК“ № 23	ВСЕВОЛОД ИВАНОВ КОГДА РАСЦВЕТАЕТ СОСНА РАССКАЗЫ И СКАЗКИ БИБЛIOТЕКА „ОГОНЕК“ № 24
АЛЬBERT СЫРЧИН ПОД ВОСТОЧНОЙ ЗВЕЗДОЙ БИБЛIOТЕКА „ОГОНЕК“ № 25	Л. СОСНОВСКИЙ О МУЗЫКЕ И О ПРЯЧЕМ БИБЛIOТЕКА „ОГОНЕК“ № 26	В. РУСТАМ БЕК ПОЛЯРНЫЕ ЛЬДЫ БИБЛIOТЕКА „ОГОНЕК“ № 27	В. МАЯКОВСКИ О БЛАКО В ШТАНАХ БИБЛIOТЕКА „ОГОНЕК“ № 28
МИХ. ЗОЩЕНКО ВИДОВЫЙ ВОДОРОДИСТ ЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ БИБЛIOТЕКА „ОГОНЕК“ № 29	ВЛ. ВАСИЛЕНКО РАССКАЗЫ БИБЛIOТЕКА „ОГОНЕК“ № 30	ВЛ. АНДРЕЙ РАССКАЗЫ О ДВАДЦАТОМ ГОДЕ БИБЛIOТЕКА „ОГОНЕК“ № 31	М. ГОРЬКИЙ ДВА РАССКАЗА ПИЛОСИЧА КЛАДИЩА БИБЛIOТЕКА „ОГОНЕК“ № 32

БОР. ПИЛЬНЯК

М Е Т Е Л Ь

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ОГОНЕК“
МОСКВА—1926

Отпечатано
в Тип.-Лит. Акц. Изд. О-ва
„ОГОНЁК“. Москва,
Сретенка, Последний п., 26.
Тираж 50.000 экз.
Главлит № 59908.

Никто не знает, как правильно:
мятель или метель.

Глава первая.

Дьякон: Оставь, Николай! Оставь балаболство.

Сын: А позвольте спросить, папаша, чем, к примеру, Магомет хуже нашего бога? Давайте, папаша, рассудим. Японцы не хуже нас, а у них свой бог, забыл, как звать, идол такой. Вот у нас бог — православный, а у немцев — лютеранский. Все Иисус Христов, а чин ему разный.

Дьякон: Оставь, Николай! Оставь балаболство! Кто больше жил — ты или я?

Сын: Вы, папаша. Ну-к-что ж?

Дьякон: Ну, я больше жил, и боле тебе и знаю. Не глупее тебе.

Сын: Эти разговоры вы, папаша, тоже оставьте. Ваш дедушка жил боле вальпого папаши, и умнее его. Ваш папаша жил боле вас, и умнее вашего. Вы жили боле мене.— А мои дети будут еще того дурее.— Таким манером весь народ скоро в дураки выйдет,—а пока этого не видать. Я так полагаю, что ежели бы Лазарь теперь воскрес, он первым бы делом под вагончик попал.

Дьякон: Пошел вон отсюда, ссужин сын!..

Ночь. Баня: холодно в бане. Дьякон с котом на печи, в тулупе и в блохах. Ночь — мрак. Баня — на задворках Спасской, что на Житной, у Кремлевского пролаза, церкви: святой Сергий Радонежский перенес отсюда монастырь на Реденеву Луку, там и посох его хранится. Дьякон от семьи в баню переселился, на задворки за Спасом, под самую кремлевскую стену. На кремлевской стене — крапива растет, это видно днем, пожухла теперь крапива. — Март или октябрь — все равно дьякону: мартовским ветром прошел октябрь по земле, — в марте снег еще лежит, посинел лишь от зимних стуж, пожухнул, канонный, как старик-старообрядец, а из-под него текут уже студеные ручьи, звонкие, светлые; это происходит так: снег буреет и рыхнет, копоть всей зимы выползает наружу, на него (в полях на снегу заячьи орешки валяются — крестьянские ребятишки собирают их, чтобы играть), внизу у земли снег прессуется в голубой ледок — и вот из него, из голубого ледка, течет студеная прозрачная вода, а над всем синее небо, теплое и звенящее жаворонком — днем, а ночью — в путь пошли миллионы новых звезд, хрустких, как ледок под ногою, и лай собачий слышен на десять переулков. А в октябре: дождь идет, как дьякон утром с перепоя в церковь на обедню, и ночи пахнут лошадиным потом. — Ночь. Баня. Октябрь. Первый снег западал с вечера. Первая метель. В первый снег утром, — мягко тикают часы, по-зимнему, и за окном, на березе должна кричать сорока, осыпая снег с ветвей. Ночь. Метель. Баня: холодно в бане, в бане нет часов. Дьякон с котом на печи.

Дьякон: Господи! Слова дай, слова дай, господи!

Дьякон от семьи в баню переселился, от мира в баптизм ушел, поселился с котом, кота учить стал справедливости, дьякон стихи писать начал. Господи, как изъяснить все, как найти слово, чтобы мир поставить иначе? — Мальчиком по садам лазил; оболтусом поступил в управу, в писцы; водку тогда хлестали — он, ветеринар Драбэ, да ветеринарный дворник, на управском дворе песни пели. Председатель управы пение слышал: этим и определилась карьера в дьяконы, председатель благодетельствовал дьяконским чином, тут вот у Спаса, что на Житной, у пролаза кремлевского; ветеринар Драбэ все по-прежнему водку хлестал в ветеринарной амбулатории на управском дворе, — у дьякона же дьяконица стала, ребята пошли, водку хлестал с духовенством. Растет жизнь иного дубом, дубом и валится в старости, дуб не русское дерево, другие жизни свою белой березкой растят, в городе жизни творились — веткой, осиной, осокой, волчажником, кошачими слезами, — дьяконова жизнь корявой веткой, живучей, как лабазная кошка, прошла: раз обломи ветку, сломится, новые отпрыски даст, зарубцуется, два обломи паршивую ветку, сломится, новые отпрыски пустят, — заживет!. В водке зеленые черти и змеи живут: из-за рясы поповской мир тесен, как московский кремль весь в маковках золотых, Четы-Минеи из-за маковок на пол-неба стали — святыми, писанными Прокопием Чириным: в Спасской церкви записи церковные и выписи хранились от семнадцатого века, в истории, Карамзина церковь эта и город много раз упоминались; записи от семнадцатого века старые были, на истлевшей бумаге, потрепанные, в них Карамзин подтверждался, дьякон тетрадку купил в клеенке, за сорок копеек, переписал

чисто, залихватски, как бумаги в управе; старые записи, как и подлинник, выкинули; в записях о воеводе Никите писалось: склеп под церковью должен был быть, дьякон всю церковь облупил кругом ломом, хода искал, и нашел таки в поповом погребе дыры проделал, кирпич дьякона разобрал, две каменные гробницы нашел, лазил к гробнице на брюхе; дьякон в Москву, на Софийскую набережную, написал письмо к археологам, чтобы приехали:— ему оттуда ответили,— что сфотографировал дьякон гробницы, чертеж и план приложил бы,— лето было, солнце кололось на кирпичах кремлевской стены, погреб батюшка проветривал,— где дьякону подземелье сфотографировать?— Осень пришла, батюшка капусту рубил, в погреб капусту в бочкахставил, дыру в погребе велел дьякону заложить. И на этом второй раз сломили ветлу, чтоб зарубцеваться ей зеленым водочным змеем. У дьякона бородка была в цвет кожи, лицо из Прокопия Чирина, и только глаза—не зрачками, а красными веками на синих белках, готовыми лопнуть,— про чертей говорили, про ночи и бани. Это уже, конечно, что у дьяконов в волосах перины.

Дьякон: Господи! Слова дай, слова дай, господи!..

Этим сломили ветлу последний раз. Как рассказать дьякону? Дьякон от мира в баню ушел, есть ему туда приносили, на лечку забился, слова искал. И такой был злой старичишка, матершинник, задира, распорижался по дому из бани.

Так.—Вот.—

— Сколько тысяч лет тому назад и как это было, когда впервые доили корову? и корову ли доили или кобылу? и мужчина или женщина? и день был или утро? и зима или лето? — дьякону надо знать, как это было, когда

доили, — первый раз в мире, — скотину. Лес был кругом зеленый, и мурава зеленая, шумел лес. И люди были: мужчины и женщины, с грибами рыжими и с руками, как корень можжухи, люди были голые, в овечьих мехах, перекинутых через плечо. Кто же—мужчина или женщина? Каждый в младенчестве сосал молоко матери, но каждого возмужавшего затошнит от женского молока: до того, как впервые доили корову, не знали вкуса молочного. Вот, собачье молоко, говорят, вкусное, а не попробуешь, затошнит дьякона. Как же впервые стали доить, когда тошнит, — кто же? Женщина, должно быть, для ребенка, должно быть, и тоскливо женщине было, должно быть, ибо, как бы томилась женщина, если бы ее доили? И корову ли доила в первый раз женщина или кобылу? Татарин конину любит, а дьякон не может конину есть—тошнит. Доила женщина, должно быть, тогда—кобылу. В тот день пришел вечер, и солнце садилось на западе, и мальчик играл с жеребенком, и кругом был лес, дубовый, зеленый, шумел лес. Люди были голыми. Никто никогда не узнает, как, когда и где впервые доили скотину. В тот день, по дьякону, произошло „величайшее завоевание человеческого прогресса“. Потом приходили соседи посмотреть, позаимствовать, поучиться, и у той, кто впервые доил скотину, на роже было всегдашнее, извечное человеческое,—по-бабы глупое, — самодовольство изобретателя: это, должно быть, могло быть и так. Каждая женщина—мать и любовница: как примирить?

Так.—Вот.—

— Целое тысячелетие, застряв, как застrevают от молодости во рту старика желтые клыки, пожелтевшие от старости, страшились, паниклият миру, России, в частно-

сти, люди в ассирио-аввилонских костюмах, России, насквозь прожеванной аржаным,—люди в ассирио-аввилонских костюмах, волосатые, в домах византийской архитектуры, заставленные библиями, апокалипсисами, Четы-Минеями, иконостасами, ризами, рясами. Монастыри, погосты, приходы,—церковными маковками небо застлали. Скотий бог—Егорий—Георгием Победоносцем помчал, хвост задрав. Патриархи, спиоды, епископы, попы, дьякона, староста — пятаками брякали в выписях, записях, прописях, алтарями, притворами, папертиами.

— Черная дьяконова ряса полами
— разбрывкалась по облакам, в ме-
— тели!. Метель! Им, неверующим,
— страшно, что есть еще церкви.
— Тысячелетием из перелеска в лес,

полями, суходолами ползет Россия, прожеванная аржаным, в овчине, с телятами, овцами, лошадьми, коровами, по-верьями, приметами, песнями, заквашенными мистикой крови и тем, что каждая баба — любовница и мать одновременно. Столетьями на скамеечках у ворот лужжатся подсолнухи, в пестрых юбках баб, а на задворках дзенькает в подойник молоко, чтобы потом восставать на пятерне, на блюдце с пословицей: „Хлеб-соль ешь, а правду режь“, перед ртом, дудочкой сложенным. Валенки, заваленки, плетни, занавески, закуты, юбки, штаны, рубашки, чашки, ложки, коромысла,— запутали мир до бессмыслицы. Три столетия назад, здесь у Спаса, татары проломили стену, пролаз памятником остался,— а воеводу Никиту вновь замурили, ибо надо солить попу капусту! На столетья болотными лихорадками, умственным (от слова „умственный“) наваждением, дублем, стоеросом,

мгновением в вечности, возникают империи, и в трудный час, поэтому люди спасаются копятником, которого не едят лошади, и желудом дубовым Европа стала на столетие— гуманистом в жилетке и в воротничке, Россия — святым зверем стала—в красной рубашке из-под жилета. Из столетий в столетия, поэмои—возникают паровозы, тракторы, аэропланы, дредноты, радио, аллитерируясь на р. Из столетий — в столетия поэмой,—сохи и бороны пашут: борона тоже р затяла в себе. Из столетий в столетье эпopeй восстала Россия корягой мужжухи, как руки дикарей, национально-интернациональной властью, святым зверем в пределах народности русской и русской территории: Россия переписала церковные спасские записи с семнадцатого века в тетрадь сорокакопеечную, песни метельные, метелицы, туманы, мглы, мги, зги по России Георгий Егорием мчит. А корову (или кобылу?), ведь, доили, ведь, доили когда-то первый раз!. С божьей помощью, древен мир,—древний, дряхлый, седой,—древен и сед. Ах, какою седою ветлою, сколько раз сломанною, стал человечий „прогресс“, чорт бы его побрал! Чугунной пятой Аттилы прошел по лицу господин прогресс от первой доевой коровы до колыбелей российских метелиц, ставших корягой, как руки дикарей... И из муты метельной опять восстают паровозы, дредноты, культура.

Дьякон: Господи! Слова дай, слова дай, господи!..

Так.—Вот.—

— Метель. Холодно в бане. Октябрь. За балей—стена кремлевская. За Спасом — базар, ряды торговые. Кремль, базарная площадь, улицы, переулки, тупики, каменные дома, деревянные дома, лачуги, церкви,—там, вверху, в ветре,—воют крестами.

Ночь. Муть. Мгла. Зги: зги все же видны, синими огнями в черной мутни они. В домах: лежанки, голландки, русские печи, железки; в домах коридоры, прихожие, спальни. За городом, за кремлевским обрывом к реке— поля: конским потом пахнет поле по осени, пустынно и мертвое ограбленное рожью поле. Первый падает снег. Как—неповторяемого—не повторить Пушкина? „Мчатся тучи, вьются тучи. Невидимкою луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна“... Вирочем, не было луны; впрочем, были не только муть, но и мгла, и мга, и зги. — Город был. И как не рассказать,—нерассказываемое,—о том, как в метелях, в снегу, в вое ветра, в мчании, скачке и пляске—

— (я близорукий, на очки снег палипает, очки леденеют, а без очков: я не вижу или вижу одну лишь зеленую муть, бьет снег по открытым глазам, из муты вдруг вырастают спешинки, все теснее и больше, чем сеть и жмуришься, и надо руки вперед протянуть, а дома, а церкви, а ветер, а снег—над тобою склонились. Выше, выше!)

— в метелях, в снегу, в вое ветра, в мчании, скачке и пляске —

— вдруг —

— возникает:—

— абсолютный покой, тишина, неподвижность, недвижность, — недвижность—в стремлении неистовом. Это — гипотеза вечности. Это мне — революция, здесь, мне ползет из Китай, и „баба с мордовским лицом“: в скачке, плясании, свисте — вдруг каменная баба с мордовским лицом. Все мы умрем, конечно, оставшись истории мордвою.

— Малиновая дьяконова ряса—но облакам, метели—разбрываются полами!

— мне, неверующему, страшно, что есть еще церкви.

— А дьякона нет уже в бане, ибо дьякон, конечно, ведьмы!..

Сын: Папанька! дров тебе принести! Вишь, как метет-то. Замерзней!

Дьякон: Пошел вон, сукин сын!

Сын: Вот вы, папанька, какоё! Богу, говорите, предались, в бани запрятались, а сами ругаетесь, как старый хрыч... Маманька велела сказать строго-на-строго, что не топимши вам здесь оставаться нельзя, чтоб дурака не валяли, в избу шли ночевать.

Дьякон: Пошел вон, сукин кот!

Сын: Вот вы, папанька, какоё!. Ежели я сукин кот, то вы, стало быть, самый главный котище!

С печки к двери от дьякона к сыну пролетели: валенок, картошка вареная, мочалка, кирпич...

Глава вторая:

Камертон—охотничьим рогом.

— До-до! до-соли! до-дооо!..

В городе хоронили общественного деятеля. Это было давно. За гробом шла толпа. Общественный деятель был просто зубным врачом из местных купцов; за гробом шли те, у кого передели зубы от щипцов и словопрений зубного врача. Гроб несли по Рязанской (теперь Ок-

тябрьской) улице. Земские начальники, Еруслан Лазаревич Кофин и Ипполит Ипполитович Воронец-Званский, ночью пьянистовали на вокзале, утром возвращались на одном извозчике с девочками вчетвером домой.—Процессы встретились на Рязанской улице у заставы; у заставы стоял городовой, и, растерявшись, крикнул городовой похоронной процессии, глазами вспыхнувшими:

— Своорачивай! Виши,—господа земские начальники едут!.. — потому что ехали господа земские начальники „неудобно выпимши“, а несли—зубного врача из купцов или (сложнее) купца из зубных врачей — неудобно мертвого!..

Охотничьим рогом:

— До-до!.. До-соль! до-дооо!

Еруслан Лазаревич, конечно, кличка, — г действительности:

Лазарь Иванович Кофин.

Время действия—революция.

Место действия—город.

Действующие лица—врачи, педагоги, дамы.

„Товарищам третейским судьям — от ветеринарного врача Сергея Терентьевича Драбэ.

(Судьи: Белохлебов Николай Иванович, врач; Крайнев Матвей Андреевич, педагог; супер-арбитр—Воронец-Званский, Ипполит Ипполитович, народный судья).

„Я знаю два факта.

„Первое. Моя жена, Анна Сергеевна, передала мне: во

вторник, 17-го, на уроках в гимназии, в большую перемену, ворвались к ней очень возбужденные Галина Глебовна Кофина и Роза Карловна Гольдиндах, и обе просили оградить их честь. Они хотели сначала идти бить меня, но потом раздумали, обратились к моей жене и рассказали ей следующее: в спектакле, который предполагался, должны были участвовать я и Роза Карловна; ее муж, Лев Семенович Гольдиндах, протестовал, не желая, чтобы Роза Карловна играла со мной, а когда Роза Карловна отказалась, он принял „решительные меры“ и рассказал Кофинам, что я в Березняках, при нем и при докторе Белохлебове, говорил о связях Галины Глебовны и, в частности, о моей с ней связи, и что в Березняках у Гликерии Михайловны хранится—„вещественное доказательство“ — письмо мое к Гликерии Михайловне, где я отрицал семейные устои; при этом, уже кроме того, что я говорил о связи с женщиной, Галина Глебовна клялась честью, что я, говоря о моей связи с нею,—врал;—одновременно с этим Лазарь Иванович сказал, что я сообщил ему о том, что целовался с Луниной и Розой Карловной, при чем Лазарь Иванович привел даже разговор мой о Розе Карловне, где я, сказав, что целовался, добавил, что могла произойти и связь, если бы не делал подразделения еврейских женщин на евреек и жидовок, — при чем: все, что я говорил,—заведомая ложь. Кроме того, я говорил Лазарю Ивановичу, что не уважаю женщин, что всянюю женщину я могу заставить мне отдаваться и, в частности, если бы я захотел, мог бы овладеть Марьей Васильевной Белохлебовой. Кроме того, я, якобы ухаживая за Галиной Глебовной, одновременно писал стихи и дочери ее, Варе.

„Второе. Лазарь Иванович пришел к доктору Белохлебову.

бову (должно быть, после воскресенья, пятнадцатого?) и сказал ему, что мною переданы ему, Лазарю, возмущившие его вещи, что я изнасиловал Лунину, целовался с Розой Карловной, и что он, Лазарь, решив оградить честь женщины, реагирует и т. д.— подробностей я не знаю, ибо доктор Белохлебов мне рассказал вкратце. В частности, о письме к Гликерии Михайловне: доктор Белохлебов слышал от Гликерии Михайловны, что она и не знала, как много во мне хорошего, и что письмо это—объяснение в любви.

„И я почел долгом своим вызвать Лазаря Ивановича на третейский суд,— почему Еруслана Лазаревича, это будет ясно.

„У меня есть два факта—это то, что Галина Глебовна и Лунина пришли объясняться к моей жене, и что Лазарь Иванович пришел плакать в жилет совершенно постороннему человеку — доктору Белохлебову,— и есть содержание этих фактов. Оценку этим фактам и их содержанию должен дать суд.

„Я должен говорить о содержании фактов.

„1) Лев Семенович Гольдица передавал, что я недостойно отозвался о жене Лазаря Ивановича — Галине Глебовне, и что я говорил о связи с ней. — Да. Помнится, что говорил. Да, у меня была связь с Галиной Глебовной, и есть сему доказательство, хоть она и отрицаet факт. Да, я позорно вел себя, сказав об этом.

„2) Жена передала мне, что я сообщил Лазарю Ивановичу, будто я целовался с Луниной и Розой Карловной; доктор Белохлебов передал мне, что я сообщил Лазарю Ивановичу, будто я целовался с Розой Карловной и изнасиловал Лунину. И это неправда, потому, что я не говорил

этого Лазарю Ивановичу. У меня не было даже с ним разговора о Луниной, но был разговор о Розе Карловне. Я колеблюсь, передать ли его или нет, но, кажется, должен. В пятницу, пятнадцатого, утром, я заходил к Лазарю Ивановичу, мы вместе были у часового мастера и затем шли: он—в воинскую комиссию призываться, я — в амбулаторию. С Лазарем у меня установился тон вести порнографические разговоры, я точно не помню, как разговор пришел к Розе Карловне, кажется, со спектакля (от которого до этого я отказался) к тому, что мы вместе приходили и вместе возвращались с репетиции,— и Лазарь Иванович советовал мне поухаживать за Розой Карловной, я упомянул о муже ее, Льве Семеновиче. Лазарь нашел это неважным,— и да,— я пустился в философию о евреях и жидовках. И это все. Я колебался передать этот разговор потому, что я совершенно бездоказателен, и поэтому пользуюсь оружием Лазаря Ивановича.

„3) Лазарь Иванович говорил, что я не уважаю женщин.— Очень возможно; должно быть, это так. Должно быть, я и говорил ему, что всякую женщину можно заставить отиться: главным образом, так говорил о женщинах с Лазарем Ивановичем, ибо, как сказал уже, мы с ним вели только порнографические разговоры.

„4) Стихи в альбом к Варе и письмо ко Гликерии Михайловне будут функционировать на суде, суд увидит, что на меня клевещут.

„Я сказал все так, как я знаю. Ту вину, что я принял на себя, — пусть осудит суд. Самый тяжелый для меня пункт второй, ибо это клевета. Передо мной два варианта: в первом исходную роль играет спектакль, во втором — возму-

щение Лазаря Ивановича; в первом я целовался с Луниной, во втором я ее изнасиловал; в первом я подрывал семейные устои письмом в Березняки, во втором — адресатка нашла во мне что-то хорошее, третьим же вариантом будет подлинник письма.

„Я разберусь в каждом варианте отдельно.

„Если бы не было спектакля, господин Гольдингах не взревновал бы и не рассказал бы о Березняках, Лазарь Иванович не рассказал бы о Розе Карловне и Луниной, Галина Глебовна не рассказала бы о том, что связи со мной у нее не было, и о стихах к Варе,—и, стало быть, моей жене не был бы устроен скандал, когда дамы собирались сначала итти бить меня, но, подумав, пошли к ней. Это было во вторник, 17-го, а за шесть дней до этого, в среду, 11-го, я отказался принимать участие в спектакле,—куда же выпали эти шесть дней, за которые я дважды встречался с Кофним, в пятницу утром и в воскресенье, вечером, у Белохлебова, за преферансом. — Ведь, если Лев Семенович вынужден был говорить о Березняках, он, стало быть, говорил до среды, одиннадцатого и, стало быть, та или иная реакция должна была быть, по меньшей мере, в пятницу, когда я заходил к Лазарю Ивановичу.—По здравому обсуждению—надо было устроить скандал жене, женщине, т.е. бить в самое интимное — и затем: и Гликерия Михайловна, и Анна Сергеевна (Гликерия Михайловна — потому, что я ей написал, Анна Сергеевна — потому, что я—подорвал устои) и Галина Глебовна, и Лунина, и Марья Васильевна, и Роза Карловна и—даже! — Варя! — все! оклеветаны мною!..

„И я прошу прочитать любовное письмо ко мне Галины Глебовны Кофиной, чтобы установить истину моих слов. Я

прошу прочитать мое письмо к Гликерии Михайловне, чтобы установить истину. Я прошу прочитать стихи в альбоме у Вари, чтобы установить истину.

„И я должен сказать, что было пятнадцатого, что краем уха слышал тогда же доктор Белохлебов, что побудило меня сейчас вызвать к суду Лазаря Ивановича. Пятнадцатого вечером, за ужином у доктора Белохлебова, Лазарю Ивановичу показалось, что я сказал на ухо доктору что-то недолжное про Лазарево семейство и, в подвыпивши, я называл его все время Ерусланом Лазаревичем, — и после ужина, наедине в другой комнате, Лазарь Иванович мне заявил, чтоб я не смеялся над ним, что его общественное положение и мое — „две разницы“, что я дождусь, что он сделает скандал так, что меня изгонят из общества. Мы с доктором Белохлебовым успокоили Лазаря Ивановича, а когда доктор отошел, Лазарь Иванович убеждал меня, чтобы я не думал, что он, будучи женат двадцать лет, не изменял жене. Я ответил ему что-то такое, что я не сомневался, что и он, и жена его, Галина Глебовна, в этом деле преуспевают.

„Это было пятнадцатого. Для меня ясно, что все, что было, было создано Кофними, чтобы устроить мне скандал, как предрекал Лазарь Иванович. Вдохновительницей, конечно, была Галина Глебовна, с тем, чтобы замести свои проделки. Было мобилизовано все против меня, одни невинности, инсинуированные и оклеветанные мною, до Вари включительно, и до жены, в частности.

„Я копчил и жду слова товарищей-судей.

Ветеринарный врач Сергей Драбэ“.

Камертон — охотничий рогом:

— До-до! до-сол! — до-доо!..

На донья морские опускаются люди в колоколах: под колоколами домов, за трубы спущенных с неба на землю, в городе, люди — Еруслан Лазаревич Кофин, ветеринар Драбэ, доктор Белохлебов, дамы, прочие, — люди болтались языками колоколов в домах. Метель над городом: муть, мгла, мга, эти, — „мчаться тучи, выются тучи“. Людьми —

— комментировать:

ибо

в метели —

А б с о л у т н ы й п о к о й .

Так.—Вот.—Так.—

— Двухэтажный колокол дома на Большой (теперь Красной) улице прикрыл Кофина, Ерусслана Лазаревича. (внизу в доме была парикмахерская „Козлов из Москвы“: Лазарь Иванович всю жизнь там брился бесплатно, в революцию уже по старой памяти о своем прежнем земском начальничестве). Двуспальная кровать во втором этаже, в дальней комнате: сколь много играет в жизни людей — кровать. Ерусслан Лазаревич на двуспальной кровати всегда спал один, Галина Глебовна спала где угодно, но не в двуспальной кровати. Ведь знал Ерусслан, как все знали, что — с кем не спала в городе Галина Глебовна Кофина, — с тех пор, давно, когда жизнь танцевала от винта в коммерческом клубе, а там в клубе отплысал венгерки сибиряк Никитин, швыряя сотенны ми, чтоб оказаться потом фальшивомонетчиком, и совсем не Никитиным, и чтоб на суде тогда выступать — в Варшаве — Галине Глебовне — свидетельницей-любовницей. А он, Ерусслан Лазаревич, земский начальник, любил выпить в хорошей компании, хорошо закусить, поговорить по душам о

задачах интеллигентии, называя ее золовой арфой, — и оплю бил Галину Глебовну, и ленты в белье Галины Глебовны после стирки вдевал — он же! Эолова арфа!

— Молчать бы, молчать! Никто не откроет Америки повой. И он солгал тогда Драбэ: для него была свята двуспальная — пустая — кровать. Драбэ: Драба пил водку, пел песни и — где Америка, что вот неделю назад ходила Галина — в ветеринарную амбулаторию ночью, — через заборную щель. Ерусслан видел, как ушла она оттуда, должно быть, прогнанная. Лев Семенович Гольдиндах — не отдавал еще жены другому, но открыл еще старой Зеландии, быдлом не подставил еще голову под страдания — и Колумбом поставил яйцо: —

— вечер был, чай пили, Ерусслан Лазаревич чай разливал: Галина Глебовна штудировала роль для спектакля, — Лев Семенович: влетел, разорвался, в шубе усился за стол, возбужденно с'ел порцию ерусслановой смоквы.

— „Я пришел поговорить серьезно. Когда мы были в Березняках у Гликерии Михайловны, ветеринар Драбэ о вас, Галина Глебовна, говорил всякие мерзости, что вы были с ним в связи“.

Ах, кто же, кроме Галины, знал, что Галину прогнали Драбэ, и кто, кроме Галины, знал, что Роза, жена Льва Семеновича, была — Драбэ? — И это Галина сказала тогда Льву Семеновичу о том, что Драбэ болтал (тут же придумано было), болтал — Лазарю Ивановичу говорил Драба, что целовался с Розой Карловной. Лев Семенович не отдавал еще никогдя другому жены, — Ерусслан знал это. — И вечер был, и чай был, и спирт за ужином, и номер „Исторического Вестника“ за девяностый год болтался на столе. Лев Семе-

лович сходил за Розой Карловной, вместе коротали вечер и обсуждали, как реагировать. — Роза Карловна плакала, грозившая, что целовалась, юлила, клялась, Галина Глебовна многоопытно кошкой играла с неопытным блудом Розалии: — Как им обеим итти давать пощечины Драбэ, когда Драбэ любовник обеих? — Ну, конечно, надо итти и защиты просить у жены! —

Разговор после ужина с водкой был по душам, об золотой арфе. Было очень уютно.

Колоколом дома прикрыта кровать Еруслана Лазаревича, и это к нему пришла ночью Галина Глебовна, очень нежная, в розовых ленточках, вставленных Ерусланом, чтоб говорить о мерзостях Драбэ. Богатырь такой, Еруслан Лазаревич — ленточки вставляет! и — как ему не раздавить, не уничтожить — Драбэ?! — Лазарь Иванович одевался всегда в сюртучек плюс манжеты плюс шевелюра с поэтической холкой. А дома — а дома привешены за трубу к небесной тверди.

Метель.

Муть, мгла, мга, эги.

Так.—Вот.—

— Драбэ судьям бумагу и „письма Галины“ принес, похоротал, покурил и ушел. Судьи рядили, как им судить? — Ведь в „письмах Галины“ были — и „Гalia“, и „твоя“, и „целую единина десять нулей раз“ — было, как в письмах и к судьям, как же гласить это обществу? Судьи судили, как им рядить? — Еруслан принял суд вдохновенно. —

— И к Еруслану пошел Белохлебов. —

— Путь Белохлебова:

хлебова: уличка в заборах, в скамейках у калиток, церковная ограда, площадь, памятник жертв октябрьского восстания

пия пиротех торфовых рядов, улица в бульжинах мостовой, в домах из камня, каждый, как гроб, — и всюду, конечно, воронье на ветлах. Костюм Белохлебова: бекеша из верблюжьего сукна и треух с красным крестом. Характер Белохлебова: круглый, деревянная мягкость от добродетели. Идея в Белохлебове: рационалистическая добродетель — помирить Драбэ с Кофним, хоть и мерзавец Драбэ.

— Я к вам на минуту, Лазарь Иванович. Простите, спешу. Надо вам помириться. Я говорю вам, как друг. Будем эткровенны. Простите, что касаюсь столь интимного. — Шопотом: — Понимаете, Драбэ приложил к делу письма Галины Глебовны, письма к нему, ну, понимаете... Это, конечно, нечестно. И-но — понимаете, — скандал на весь город... И-но — Драбэ, конечно, вправе предъявить материал... — Погромче: — Простите, что касаюсь. Я говорю вам, как истинный друг.

Лазарь Иванович одевался всегда в сюртучок плюс манжеты плюс прическа с поэтической холкой. Лазарь Иванович — в сумерках, до чая — слег в д'успальную свою кровать, сняв сюртучок и манжеты. У Лазаря Ивановича с Галиной Глебовной была семейная сцена, громкая до визга. Визжал Лазарь Иванович.

Лазарь Иванович в истерике:

- Ты, ты, ты! Я не могу даже честно реагировать! Галина Глебовна в самогипнозе:
- Ты, ты, ты, урод.. Трус! погубил мою жизнь!
- Что же паскудные письма на показ выставлять?
- Ты, ты, ты... Письма? письма... Какие письма?..
- А те письма, что ты писала скотолечебнику!
- Что-о? Письма Драбэ? — Ложь!

— Мне Белохлебов их показал...

— Ах, негодяй! Чегодяй: отпосилось, кофейко, к Драбэ.

— И Розины письма тоже принес?

— Нет, Розу он не желает паскудить.

Путь Белохлебова: улица в булыжниках мостовой, в домах из камня, как гроб, а всюду, конечно, воронье на ветвях Костюм Белохлебова: бекеша, треух, благополучие и довольство всем содеянным в жизни.

Встреча: Воронец-Званский. Бу-бу-бу.

— Николай Иванович, вы?

— Воронец?

— Он самый. Откуда и куда?

— Собственно, из дома и домой.

— Полагаю, маршрут надо изменить.

— Почему?

Ипполит Ипполитович Воронец-Званский сумрачно в сумраке расстегнул пальто и показал из бокового кармана — из вылезшего лисьего меха — бутыль. Воронец ткнул пальцем в бутыль, погрозил ей, сказал:

— Регардили? Галки или вороны, не знаю — усердствуют очень. Интеллигентная птица. Кричит и тоску наводят. Не переношу. И весной и осенью тоску по вечерам разводят. Услышишь и почувствуешь, что подлец ты своей жизни и блоха на земле. Идем к Драбэ в амбулаторию: он еще добавит...

— Неудобно. Я ведь сторона Кофина.

— Ерунда! Я ведь супер-арбитр.

— Ну, пойдем, что ли.

Пошли.

Вот. — Так...

— Город осенний. Осенние сумерки опускают города, точно выпут из города воздух: с улиц, оград, переулков одни лишь картоны стоят плохого художника. Драбэ и ветеринарная амбулатория на управском дворе. Жил сто лет назад дворянин Озеров, а в городе, чтобы не жить здесь, дом себе поставил архитектуры ампирной с флигелями, конюшнями, садом, фонтанами. В шестидесятых годах разорились дворяне Озеровы, продали дом новому тогда земству; в главном доме земство управу поместило, фонтаны в саду к чертам полетели, двор травкой зарос, по флигелям (флигеля из двенадцати строены были, хоть и крыты тесом) разместились: библиотека, бесплатная земская скотолечебница, сельско-хозяйственный склад; заборы каменные остались, хоть и не являли мальчишкам препятствий к земскому саду; революция в Озеров дом, в старое земство — вселила у исполнком заборы каменные — остались, хоть и не являли мальчишкам препятствий к советскому саду, сад же пилили на топливо; сельско-хозяйственный склад вывеску изменил на трудовой сельско-хозяйственный склад, но стоял под замком, по бестоварью. Амбулатории ветеринарной пахнуть следует креолином, первым лошадиным средством, так она и пахнула. Ветеринару пахнуть следует креолином: так и пахнул Драбэ РАЗГОВОР ПЕРВЫЙ. Белохлебов: «Куда тут?» Воронец: «Вот-вот, направо или налево. Вылезли?» Белохлебов: «Ину и темнотища, — наворотили!..» Воронец: «По стенке валяйте, Николай Иванович, оно спокойнее для физиономии». С неба за трубы флигель, как колокол, спущен, чтоб болтались люди языками; с потолка на цепи лампа-молния спущена, чтоб освещать стол в

клееине, сосновые стены из дверищника, кресла, диван, стулья и прочее без пожек, еще от Озеровых.

ДЛИНЫЙ РАЗГОВОР: Драбэ: „Недоумеваю! Когда я увидел однажды, как люди, он и она, ухаживают друг за другом, он сказал: — Недоумеваю! почему это делают не на крыше?! Не-до-уме-ва-ю!“ Воронец: „Представляю. Драба. Ветеринар, лошадиный доктор, по-клонник красоты; археолог, герой наших девиц, дам, кухарок и легенд. Дворянин“. Китти Луинна: „Земляной человек! Я его так зову! — Знаете, Белохлебов, он леший. Я разговаривала с Кузьмой, и он сказал, что он знает заговоры... Земляной человек!“ Драбэ: „Отроковица! оставь доказывать всем, что ты ко мне неравнодушна, и что ты мне не нравишься“. Китти: „Фи! Белохлебов: „А почему вы пришли к такому выводу?“ Драбэ: „Это насчет того, что она мне не нравится, а я ей нравлюсь?“ Китти: „Фи! глупости он говорит!“ Драбэ: „Оставь, о тебе говорят, женщина!.. Серьезно. Я часто думал, как тяжело, как оскорбительно быть такой женщиной, да и вообще женщиной! Разговариваешь с ней и чувствуешь, что ломается она, кривляется, говорит глупости, пошлости и требует к себе почтения только потому, что она женщина, потому что ей простят, ибо она — баба, существо физически противоположное мужчине“. Воронец: „А послушай, а те мужчины, которые попадаются на эти удочки, что же — выше стоят?“ Белохлебов: „Да, это серьезная тема“. Воронец: „Нет, пусть Драбэ ответит!“ Драбэ: „Что же, и мужчин дураков много“. Воронец: „Не дураков, а подлецов. И еще скажу: вопрос, что мерзостнее: на удочку попадаться или

удочкой удочку ловить? Ведь, насчет отроковиц и прочую ерунду ты всем женщинам говоришь!“ Китти: „Верно! Молодец, Званский! Молодец!“ Драбэ: „Хо-хо-хо!“ Воронец: „Эх, братики, никак вы не поймете, отчего мне выпить сегодня захотелось. Вчера лег — галки, сегодня встал — галки, или вороны, не знаю, вечером решил, что грачи. Пить идите, готово“.

Ночь стала над городом, и дождь заморосил. На столе под лампой — молнией: спирт, селедка, помидоры. Октябрь — у стола: люди в разных позах. Костюм Драбэ: рубашка и шаровары в смазные сапоги взабувку, пахнут ветеринаром, первым лошадиным снадобьем — креолином. Голова Драбэ: как у тех, кто впервые доили скотину, вся в волосах и глаза из волос наивно глядят. А Китти, а Китти: девятнадцать лет. Дождь идет медленно (дождь, оказывается, ходит), как дьякон с перепоя к заутрене, дождь капает с черного неба, а ночь черно-лиловая и пахнет конским потом, ветер шатается пьяницей, и вновь вложена в землю душа, круто заварена ржаная — ночи — каша, па конском поту.

ПРОЩАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР, в коридоре, без Китти. Воронец-Званский на улице, прощаюсь... ...али, как всегда делают мужчины — улицы, избывали печали, русские, без причины. Белохлебов: „Слушайте, Драбэ... Насчет суда. Вы Галинины письма... неудобно...“ Драбэ: „Брось, Белохлебов. Кому — нибудь одному надо уже в дураках остаться. Я не хочу. Я и так не хожу домой уже целую неделю...“ Белохлебов: „А эта-то Китти, как сюда теперь попала?“ Драбэ: „Ножками попала, ножками“.

—Путь Белохлебова или путь слепорожденного, безразлично: глаза выткнуть, ни зги не видать, как у негра в же-лудке в двенадцать часов ночи, грязь по колено внизу; путь Белохлебова: паощупь.—

И в ту же ночь, поздно почью в ветеринарную амбулаторию к Драбэ приходила Роза Карловна: — „Это нечестно! Это нечестно!“ — Слезы на древних семитских глазах украстили ночь жемчугами. Роза Карловна рассказала, что рассказала Галине Глебовне. Драбэ ей рассказал, что он написал суду, — Драбэ ее успокоил, и она, Роза Карловна, успокоилась тем, что Драбэ отрекся от нее, сказав, что Кофин клевещет, и она, не раздеваясь, целовала Драбэ так обреченно, и так поспешно, безвольная, спеша домой к мужу. Потом ночью, один, Драбэ долго читал „Старые годы“ — о ханском дворце в Бахчисарае. Дождь хлестал сиротливо, ветер шаркал по дому и под диваном шарили мыши.

Глава третья.

Третейский суд был назначен в квартире доктора Белохлебова. Товарищи третейские суды собрались в кабинете. В двух разных компактах, столовой и спальне, сидели стороны, Кофин и Драбэ. Первым вызвали Кофина, Кофин побыл пред судом и ушел. Потом побыл пред судом и ушел в свою спальню Драбэ. Затем их позвали обоих, и супер-арбитр строго предложил сторонам помириться, и стороны пожали друг другу руки. Доктор Белохлебов пригласил всех в столовую выпить по рюмке водки перед винтом с выходящим.

А над городом шла метель. Как, — неповторимого, — не повторить Пушкина, о том, что ветер вольный „всю жизнь провел в дороге, а умер в Таганроге?“ Да, но город не

был даже Таганрогом. Снежные космы, — первая была октябрьская метель, — лизали жухлую землю, выли, стоили, мчались (снег оказывается, стонет). Метель, метель, метель! Муть, мгла, мга, зги. В домах лежанки, голландки, русские печи, железки. Первая мчит метель, — первая, первая. Как не рассказать — нерассказываемое — о том, как в метели в снегу, в вое ветра, в мчании, — в скачке и пляске — вдруг возникает:

— абсолютный покой,
— неподвижность,
— недвижность,
— тишина, —
баба с мордовским лицом.

Я близорукий, на очки снег налипает, очки леденеют, а без очков: я не вижу или вижу одну лишь зеленую муть, бьет снег по открытым глазам, из муты вдруг вырастают снежинки, все темнее и больше, чем есть, и смежаешь глаза, а надо руки вперед протянуть, — а дома, а церкви, а ветер, а снег над тобою склонились. Выше, выше! — черная (или лиловая?) ряса, — дьяконова, — по облакам в метели.

— Пасс.
— Пикендрясы.
— Червунцы.
— Малый шлем...

Так. — Вот.

— А у Драбэ, — а у Драбэ была жена. Это к ней тогда пришла в школу второй ступени, на уроки, в большую перемену Галина Глебовна и Лунина, — пришли, в

белую зиму спокойствия Анны Сергеевны ворвавшись осеннею слякотью. Это она тогда в спокойствии белой зимы слазала дамам, что они направились не по адресу. Это она тогда спокойствием белой зимы передала разговорец большой перемены мужу, чтобы прижабить Драбэ к подушкам дивана, чтоб почувствовать Драба, что он впрямь скотолечебник. У Анны был домик, совсем не под колоколом, домик был белый, там были дети, чтоб нести Анне крест их. Метель, метель, метель. В муты, — в ту метельную ночь, — шел Драбэ переулочками, закоулочками, всегда в тупике, в первой — в октябре — метели. В белом окне был свет. Постучал. Подождал. Постучал. Свет исчезнул в тени. Свет появился в прорехе для писем в парадном.

— Кто там?

— Это я, Сергей. Пусти, Анна.

— Уходи, негодяй!

Свет исчезнул в прорехе для писем. Больше не было в домике света.

Ночь. Метель. Муть. Нехорошо! Зябко. —

— Охотничим рогом —

— Эолова арфа — метель:

— До-дол до-соли! до-дооо!..

Глава четвертая.

В семнадцатом веке попы, дьякона и причетники записи писали. Дьякон записи эти нашел через три с половиной столетия. Дьякон тетрадку купил, чтоб переписать эти записи. В записях дьякон прочел о воеводе Никите, гробницу сыскал, — летом размуравил ее, когда солнце кололось о кир-

пичи Кремля, а осенью батюшка замуравить велел дыру, потому что надо было капусту солить. Дьякон, управским писцом, водку хлестал на управском дворе в ветеринарной амбулатории; в духовном звании дьякон водку хлестал уже с духовными лицами; с батюшкой дьякон жил в пререкательстве, дьякон был острослов, батюшка был меланхолик, вдвоем водки не пили, но у купцов по приходу чин заставлял их быть вместе, и, выпив, дьякон шутил над духовным своим начальством, и батюшка мстил: в церкви богослужили лишь в праздники и под праздники, в будние дни не богослужили, а каждый раз батюшка мстил одним и тем же манером, и каждый раз дьякон попадался в расплохе: с пиром, от купцов, где выпивавший дьякон шутил, потихоньку уходил батюшка и, вернувшись на Спас, говорил звонарнице: — „Звони!“ — Звонарница звонила к вечерней, и пьяnenский дьякон от купцов через весь город, рясу в руки забрав, мчался домой, чтобы Богу служить, едва держась на ногах, в пустой церкви пред недоуменно заблудшой старухой. Растет жизнь иного дубом, дубом и валится в старости, — растут жизни иных ветлою, осинюю, осокой, волчажником, — больше ветел на свете, чем дубов и берез! чтоб рубцеваться повсюду и возрастать на песке колом, воткнутым в землю, — впрочем, ветлы бывают иной раз — бамбуком. Революция много рубцов нарубила на разных бамбуках, — попово дерево крепко уперлось в рубцевалью народной стихии: у батюшки жена ушла в полюбовницы к комиссару, в городе девичий монастырь разогнали, и батюшка — в полюбовницы взял монашечки,

— Ночь. Башня: холодно в башне. Дьякон с котом на печи, в тулупе и блохах. Первый падает снег, первая метель.

Март или октябрь — все равно: мартовской метелью прошел октябрь по земле. В первый снег утром — мягко тикают часы, по-зимнему, а за окном мальчишки в снежки играют. Дьякон от мира в баню ушел, откуда командовал домой. слова искал, в баню взял с собой одного лишь кота. Кота дьякон учил праведной жизни — не есть скромного; дьякон и кот ели лишь постное: дьякон — хлеб и картошку, а кот — картошку и свеклу. Кот был очень смиренен.

Почь. Мрак. Воет метель.

Дьякон: Кто еще там?

Драбэ: Это я, Сергей Терентьевич. Мимо проходил, вспомнил о тебе, дьякон. Мудриш?

Дьякон: Мудриш.

Драбэ: Ну, а вымудрил что? Я к тебе, дьякон, по делу... Надо водку пить бросить и баб. Нехорошо, дьякон. Починишь, как мы с тобой под церковью копались, старику искали? — дураки говорят, что по-умному жить надо. Стихия, брат, биология.

Дьякон: Помню. И брось, — баб, то-есть. Вот мне падобно знать, кто на земле первый доил скотину, — баба или мужик, и корову или кобылу? Ох, до чего наворотил дьяволы, в миру.

Молчание.

Дьякон: Баба, надо полагать, доила, то-есть, — для ребенка. И тоскливо же бабе было доить! чай, все думала: — «ну, а как вдруг меня подоят?»

Драбэ: Это ты правильно, дьякон. Тоскливо. Только доил-то, наверно, мужчина. Ну, какая же баба далась бы доиться? — неестественно. Ей и в ум не пришло бы доить. Это, должно быть, парни впервые проделали — от озорства.

Дьякон: Что о? от озорства? — от озорствааа?

Драбэ: Ты что обрадовался? Кобыленку какую-нибудь, а поймали бы девку — девку стали доить бы...

Дьякон с печи сполз, кот с ним вместе спрыгнул. Дьякон стал перед Драбэ.

Дьякон: Стало быть, и весь мир от озорства?! Нет, постой, обясни, как же так? — и кобылу? — от озорства.. А я то, а я-то, — бабу жалел, — от озорства!, хо-хо-хо! хи-хи хи-хи.. От озорства!

Драбэ: Мудриш, дьякон. Впрочем, и люблю тебя, что мудриш. Понимаешь, кончил институт, теперь все забыл. Женился, любил жену, жена прогнала от себя. Дураки говорят, а я не знаю — умна жизнь или полезна, а смерть — глупа или вредна. Полагаю, глупо быть умным. Понимаешь, корягой, дублем, стоеросом жил. Ломиться надо корягой. Революция миру коряга. Не-до-уме-ва-ю, почему не на крыше?

Дьякон: От озорства, хии-хи-хи! Революция миру коряга!.. А я-то, — а я-то!..

Кот у дьякона картошку и свеклу ел, вегетарианцем был. Дьякон руками махал перед Драбэ, кот у двери во мраке прижался. Когда Драбэ, уходя, дверь в метель отворил, кот вегетарианец из бани стремглав полетел, хвост поджав пособальши, с разбега в забор уперся, очумело вскочил на забор, с забора махнул па кремлевскую стену, оттуда на крышу к попу. Кот, ни разу не видавший мяса, конину в чулане учゅял у дьякона. Пожалеть кота надо, — кот с рычаньем на мясо набросился, мяукал неистово и мясо сожрал: восемь фунтов, — и кота не видали больше — ни в чулане, ни в бане, ни на заборах: кот вообще со Спаса убрался.

Утро в тот день пришло в баню снятым мелоком, окна банные стали, как бумага, в которую когда-то заворачивали сахар. Утро пришло в баню в тот день—белым морозом, алмазами белыми на стенах и углах. Дьякон в яссе сидел на нижней ступени полка, локти уперши в колени и щеки вложивши в ладони,—и глаза—не зрачками,—а красными веками на лиловых белках, готовыми лопнуть, говорили —чорт знает о чем. Темно было в бане и холодно, дьякон сидел неподвижно,—дьякон не видел алмазов, метелью насыщенных в окна. За баней снег заскрипел от шагов.

Сын: Папанька, замерз? А знаешь, у отца Алексея, у сатошки нашего,—сын родился—от монашки. Ночью монашка сыва родила!

За баней снег заскрипел от шагов, в баню—квашнею—дьяконица ввалилась.

Дьяконица: Отец! Кот у тебя? Кот конину сожрал,—восемь фунтов. Дознаюсь, чей кот!.. Восемь фунтов! Твой-то кот у тебя?—Вот учил, вот учил, а он конину,—пол-задней ноги!

Сын: Маманька! А у отца Алексея—от монашечки—сын родился, девять фунтов, здоровый!..

Дьяконица: Что-о? А где кот?.. Мать Гликерия сына родила?..

Дьякон сидел неподвижно. Дьякон поднялся с нижней ступеньки полка. Дьякон крикнул громчайше:

— От озорства!.. Не-до-уме ва ю!. от озорства!..—от озорства!...

Дьяконица: Баааа-атошки!..

Дьякон: Кот убег. Кот сожрал восемь фунтов конины. А

Гликерия девять фунтов родила. От озорства!. Матка, беги.—

Васька, беги, сукин кот!—желаю записаться в Российскую коммунистическую партию большевиков и служить буду верой и правдой. Желаю из бани выйтить!

— Сврачивай! Видишь,—господа земские начальники едут!.. Дьякон три дня отсыпался после бани, спал, как из ведра.

Глава пятая.

Метель. О-го-го! метель!

Это было так. Перед окном стоят стройные елочки, там, дальше, огородный пустырь, за огородом река, как свинец в осеннем дне, река изгибается крутой лукой, и на той стороне, на луке, на холме стоит белый дом, среди старого парка. Этим домом к реке выпир город. Сумерки грузились тем свинцом, которым паковали чай, земля была черна и безмолвна, стройные елочки стали у моего дома, пихты у того дома на луке,—и в небе.— Памиром в пасмурный день, горами—строились громады туч. Тучи были зимние. Тучи пошли снеговыми полчищами. Тучи распределяли свинец, чтобы ему побелеть. На дворе с громом хлопнула калитка, —первый вестник,—и под окном полетели листья, бумажки, стружки, снова громко упала калитка, ветер сплеча уперся в дом. И сразу кинуло снегом на черную землю. Домна принесла дров, грохнула на пол.— „Замело, замело-то, не видать ни-сиш-пороха!“—Что же.—Метель! Ого-го, метель! Кресло—к печке, книги те, что в пыли, в углу, на полу. Бетер-гуляка одним мехом без клавиш в гармонику дует, —снег на землю пошел деловито, обсыпаясь с землею в делях. Стойкие елочки—синие, белый снег и—ни-сиш-порох.

ха.—„То, как зверь, она завoет, то заплачет, как дитя,—то, как путник запоздалый, к нам в окошко застучит“

— Никакого путника я не жду.

— „Дров принесите, Домаша, побольше. А спать завалюсь в восемь часов. Самовар приготовьте“.

Снег снеговыми мехами землю покрыл, окна посыпали по-зимнему, часам тикать по-зимнему, по-метельному, по метельному врукопашную с домом пойти ветру и по метельному дому на ночь обернуться. Самовар в восемь часов свил свою верею, чтобы в печке углем стать парчевыми. В пыльной книжке написано о старых колоколах, о Корноухом—угличском, о московском Ивана Великого, о прочих знаменитых колоколах,—и решил, что метель, главным образом, вот—гудит по-звериному, зверем, которого нет. А потом—ночь. Дому—ершом стать в метели, ворчать, хрюнеть, скрипеть по-стариковски, сердито—хранить тепло свое и меня.

А ночью—глубоко за полночь—к вою ветра, к шумам и крикам метельным—влились в них дубасы в окно, у дверей, в водопроводную трубу: „То, как путник запоздалый, к нам в окошко застучит“. И сквозь форточку—из метели—в метель в белом белье я услыхал бас товарища Воронова:

— Гей, товарищ Борис, отпирайте!

— Это пришли коммунисты из белого дома на луке: этим домом в метель выпир город. Товарищ Елена кричала в метели:

— Метель! Мы гуляем. Разве можно уснуть такой ночью! Метель!

В дом, со снегом, с метелью, с морозом ввалились веселые люди. Дом — старый хрыч — занумел, загудел, зазвенел

в этажерке посудой от тяжелых—по половицам скрипящим—шагов товарища Воронова.

А за домом метель—замела, завыла, закружила, киула в белую бучу снегов.

— Го-го-го! Метель! — Это Воронов.

— Товарищ Борис, милый философ! Над землею метель, над землею свободы, над землею революция! Как же можно так спать! Как хорошо! как хорошо! — Это товарищ Елена.

Товарищи Павлов, Собакин, Агапова—враз и по-разному запели разные песни. Товарищ Воронов басом—Орешином—перекрикнул метель:

Или—воля голытьбе,
Или—в поле на столбе!..

— Ого-го! Метель!

Товарищ Елена стиснула руку: вперед, без дороги, в белую бучу метели! Ничего не поймешь—жердь огородная, что ли?—канава?—жердь огородная, снег холодящий по пояс: конечно, поэзия, конечно, поэма. Здесь на минуточку ветать,— подождать остальных, как ловятся в яму,— и не выпустить руку из рук.

— Милый, товарищ Борис! Какая метель; как хорошо,— как хорошо!

А потом всем стоять,— как волчья стая в метели обсуждать,—

— вот мелькнула папаха Павленки и исчезла за снегом, а соседка—Елена—видна лишь по пояс—по пояс вросла в белую муть, а Собакин овеял теплом от дыхания, вырос громадой больше, чем есть, и Елена, и я полетели в холодную снежную мягкость.

Обсуждать:

— Реку на мост обходить или плыть через реку на лодке, пробивая по ломкому льду себе путь.

— И решили: на лодке.—Лодку, как сани, тащили на лед и под лодкою рухнул ледок. На середине реки не было льда, там шло сало,—ах, как ветер кружил в белой муте!—и пристали на той стороне далеко от места, где надо пристать. В парке ветер с деревьями шел в рукопашную.—Метель! Ого-го! Метель!

— Милый, милый товарищ Борис!

— Милый, милый товарищ Елена!

— Как хорошо! Свобода, метель!

— Ка-ак хо-ро-шо!..

В белом доме—колонный зал. В колонном зале горит пустынная свеча. Почему губы женщин всегда горьковаты и рассвет идет мертвцем?! Там, за окнами ночью была метель. Утро пришло синим мертвцем. Нету метели. Снег лежит покорно. В белом зале—белый свет, по-зимнему идут часы. В белом зале ненужную свечу я потушил.

Ну, вот:

— снег лежит покорно, там за окнами была
метель,—

— по городу идет

будничный советский день.

Скучно. Будни. Рабочий день. „Соединенное заседание наробраза и здравотдела“. „Сводки декретов, статбюро и продкома“. „Разъяснения центра“. Цифры, цифры, цифры—цифры всегда белые, сухие и меняющиеся. Люди в кожаных куртках, незнакомые, бог весть откуда, с диалектом: комгоссооп, рабсила, начэвак. Прибавочная стоимость, пар-

тийные директивы. В каждой комнате по железке, жарко и дымно, а у железки барышня щиплет луцины.

„Рабкрин не утверждает смету Здравотдела, отношение из центра № 50007. Секция Соцкультуры подготовила доклад, где в револютивной части... Ордер улескома лежит третью неделю, нет дров“.

Кожаные куртки, папахи. Руки надо греть у железок. Новая экономическая политика,—необходимо разобраться, как из бесконечных противоречий получается система практики, логически согласованная,—чем? „Надо учиться заново—вот у них, у „нижних чинов““. Очень скучно. Лица под папахами—очень скучные, как будни. Товарищ Воронов сворачивает махорочный крючок, руки не слушаются,—и на карточках закуривает его от железки.

— Примите телефонограмму. „Всем культотделам предлагается строго согласовать свою деятельность с политпросветом, который организует сексокультуру“. Распоряжение из центра.—, По данным статбюро учащихся в уезде столько-то, обученных из них 20%, т.-е. столько-то. Чрезвычайном поборьбе с безграмотностью обучено столько-то взрослых, остались столько-то, т.-е. 47 процентов. На призарок детям в школах отпущено столько-то пудов овса и воблы. 10% школ не приступают к занятиям из-за отсутствия стекол в Республике“.

— Станция?—барышня, станция?..—Дайте мне пожалуйста фарпод санотдела.

День белый, день будничный. Утро пришло в тот день синим снегом. Скучно. Советский рабочий день. А оказывается этот скучный рабочий день и есть—подлинная—революция. Революция продолжается.

<p>С. ФЕДОРЧЕНКО НАРОД НА ВОЙНЕ</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 49 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>	<p>ЭРИХ МЮЗАМ ИЗБРАННЫЕ СТИХИ и Рассказы</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 50 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>	<p>Б. САВИНКОВ В ТЮРЬМЕ ИЗБРАННЫЙ РАССКАЗ А. В. ЗУЛУЧАРСКОГО</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 51 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p> <p>С. РЕШЕТОВ В СТАРОМ ПОДПОЛЬЕ</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 52 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>
<p>БОРИС САВИНКОВ ПОСЛЕДНИЕ ПОМЕЩИКИ ПОСЛЕДНИЕ РАССКАЗЫ</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 53 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>	<p>АЛЕКСАНДР АРНУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ КРЕСЛО Рассказы</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 54 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>	<p>А. КРЕПТИКОВ МИКИША Рассказы</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 55 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p> <p>МИХ. ПРИШВИН Рассказы</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 56 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>
<p>В. ВЕРЕСАЕВ Рассказы</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 57 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>	<p>ЭМИЛЬ ЗОЛЯ ПРАЗДНИК В КОКВИДЕ</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 58 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>	<p>С. БУДАНЦЕВ ЭСКАДРИЛЬЯ ВСЕМИРНОЙ КОММУНЫ</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 59 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p> <p>РАССКАЗ о венгерском солдате</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 60 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>
<p>МИХ. ЗОЩЕНКО ИЗОБРИТСКИЕ РАССКАЗЫ</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 61 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>	<p>В. В. ДЖЕКОВС ВЫСЕЛЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 62 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>	<p>БОРИС ГУСМАН ПОЭТЫ ПЯТЬ ХАРАКТЕРИСТИК</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 63 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p> <p>И. БАБЕЛЬ ЛЮБКА КОЗАК</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 64 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>

<p>С. ФЕДОРЧЕНКО НАРОД НА ВОЙНЕ</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 49 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>	<p>ЭРИХ МЮЗАМ ИЗБРАННЫЕ СТИХИ и Рассказы</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 50 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>	<p>Б. САВИНКОВ В ТЮРЬМЕ ИЗБРАННЫЙ РАССКАЗ А. В. ЗУЛУЧАРСКОГО</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 51 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>	<p>С. РЕШЕТОВ В СТАРОМ ПОДПОЛЬЕ</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 52 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>
<p>БОРИС САВИНКОВ ПОСЛЕДНИЕ ПОМЕЩИКИ ПОСЛЕДНИЕ РАССКАЗЫ</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 53 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>	<p>АЛЕКСАНДР АРНУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ КРЕСЛО Рассказы</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 54 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>	<p>А. КРЕПТИКОВ МИКИША Рассказы</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 55 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>	<p>МИХ. ПРИШВИН Рассказы</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 56 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>
<p>В. ВЕРЕСАЕВ Рассказы</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 57 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>	<p>ЭМИЛЬ ЗОЛЯ ПРАЗДНИК В КОКВИДЕ</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 58 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>	<p>С. БУДАНЦЕВ ЭСКАДРИЛЬЯ ВСЕМИРНОЙ КОММУНЫ</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 59 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>	<p>РАССКАЗ о венгерском солдате</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 60 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>
<p>МИХ. ЗОЩЕНКО ИЗОБРИТСКИЕ РАССКАЗЫ</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 61 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>	<p>В. В. ДЖЕКОВС ВЫСЕЛЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 62 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>	<p>БОРИС ГУСМАН ПОЭТЫ ПЯТЬ ХАРАКТЕРИСТИК</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 63 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>	<p>И. БАБЕЛЬ ЛЮБКА КОЗАК</p>  <p>БИБLIOТЕКА "ОГОНЬ" № 64 МАГАЗИНЫ "ОГОНЬ" МОСКОВСКАЯ УЛ., 10/12</p>

Т-ВО
„КОНТРАГЕНТСТВО ПЕЧАТИ“

Цена **15** коп.

ПОДПИСКА НА БИБЛИОТЕКУ «О Г О Н Е К»

Еженедельно ОДНА книжка:

1 мес.—50 к., 3 мес.—1 р. 50 к., 6 мес.—3 р., 1 год—5 р.

Еженедельно ДВЕ книжки:

1 мес.—1 р., 3 мес.—3 р., 6 мес.—5 р., 1 год—10 р.

Москва, Тверской бульвар, д. 26, телефон. 5-51-69.

Издательство «ОГОНЕК».